



# Грише от Вертинского

*Вел. Москва - 2004 - 6 апр. с.б.*

## ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

вы теперь, кто вам целует пальцы, куда ушел ваш китайчонок Ли..?»

Имя его нигде не упоминалось, стихи не печатались, пластинки были запрещены. Так что я о его пении никакого представления не имел. И представьте нашу — мою и мамину — радость, когда однажды в Батуме, в клубе милиции ей в качестве гонорара за концерт вручили реквизированные у грека-контрабандиста фильдеперсовы чулки, флакон одеколона и... граммофонную пластинку Вертинского «В бананово-лимонном Сингапуре»! И, вернувшись в Тбилиси, на нашем стареньком патефоне я впервые услышал голос певца, его неповторимые интонации и неподражаемую грассировку.

Пластинку заиграли до скрипа, но все равно можно было разобрать: «Вы, брови темно-синие нахму-у-у-рив, тоскуете одна...» Я не все понимал, но от пения веяло чем-то таким «нездешним» так, что тревожно замирало сердце. Я разглядывал портрет певца на обложке маминых нот: молодое лицо, грустные глаза... И на всех нотах надпись: «Печальные песенки Вертинского».

Прошло несколько лет, началась война. Я служил в Ансамбле погранвойск Грузии, репетирова-

ли мы в клубе им. Дзержинского. И однажды, придя на занятия, я увидел в вестибюле маленькое объявление: «22, 23 и 24 июня 1944 г. концерты Александра Вертинского». Показалось? Перечитал. Нет, все правильно. Концерты Александра Вертинского! Он приехал?! Ему разрешили?! Почему не было официального сообщения? Впрочем, все это уже было не важно, главное — Вертинский вернулся, он дает концерты, и мы его услышим!

Несмотря на отсутствие афиш в городе, зал клуба Дзержинского был переполнен. Атмосфера была напряженная и даже нервная. Как будто предстояло что-то запретное. В какой-то мере так оно и было: только клуб НКВД мог позволить себе предоставить площадку бывшему эмигранту для его первого концерта.

Стояла жуткая тбилисская духота. Артист был в белом пиджаке и черной бабочке, шел медленно, не глядя по сторонам. Вышел к роялю, наклонив голову, переждал долгие приветственные аплодисменты и повел подбородком в сторону своего аккомпаниатора Михаила Брехеса. И начал петь слегка вибрирующим голосом: «В бананово-лимонном Сингапуре, в бури, когда поэт и плачет оке-

ан...» Потом «Что за ветер в степи молдаванской», «Прощальный ужин»... Я стоял совсем рядом, в кулисе, ловил каждую его фразу, каждый совершенно удивительный жест кистей с длинными пальцами. Микрофонов, конечно, никаких не было, но слышно было каждое слово, спетое или произнесенное нараспев, каждый раз с какой-то новой неожиданной интонацией. Он был ни на кого не похож. Совершенно!

В антракте я пошел за ним в душную грим-уборную, где он снял пиджак и бантик и развалился в кресле. В комнату тотчас набежали какие-то люди, артисты драмтеатра им. Грибоедова, администратор филармонии, еще кто-то. Вертинский был в чудесном настроении, оживлен, даже весел. Он рассказывал о Голливуде, продемонстрировал свой белый пиджак, там купленный. («Представьте себе, он сделан из стеклянной ткани! Вот пощупайте! В нем совершенно не жарко!») Кто-то налил ему рюмку коньяка. Александр Николаевич только поныхал: «Грузинский, да?» Выпил он только после концерта, который закончился поздно вечером. Несколько своих «ариэток» Вертинский спел «на бис». Особенный успех имели «Маленькая ба-

лерица» и «Доченьки». Все уже знали, что у него молодая красавица-жена и две маленькие дочки.

Артиста завалили букетами цветов, корзинами с фруктами и бутылками с вином. Пошли за машиной, а пока Вертинский рассказывал о своем огорчении: он всю жизнь собирал грамзаписи своих песен, и вот всю эту коллекцию в несколько сотен пластинок японцы задержали на границе, когда он возвращался на родину...

— Зато я привез медикаменты для Красной армии, — не без гордости сказал А. Н.

На следующий день перед концертом я осмелился заговорить с Вертинским. Заикаясь, я передал ему привет от мамы, некогда, в 1918-м, аккомпанировавшей ему в Киеве. Он не без труда вспомнил юную Оленьку и был тронут, узнав, что она продолжает играть его «печальные песенки». Услышав, что у мамы сохранились его ноты, он почему-то насторожился. В антракте спросил меня: «Вы могли бы показать мне эти ноты?» Я, конечно, с готовностью пообещал принести ему всю папку. «Только не сюда!» — поспешно сказал Вертинский и огляделся, хотя в комнате никого не было. — Приходите ко мне в гостиницу

завтра днем, после часу. Ноты никому не показывайте!

Назавтра с папкой ветхих нот я входил в гостиницу «Тбилиси» на проспекте Руставели. С волнением постучал в дверь. Вертинский открыл сам, он был один. Рассеянно поздоровавшись, он нетерпеливо открыл папку и стал рассматривать ноты, истрепанные листки с его портретом на обложках. «Каков красавчик!» — с юмором заметил А. Н. По-видимому, он что-то искал: среди всех нот его заинтересовали две песенки. Он вцепился в них и, не выпуская из рук, спросил, могу ли я подарить эти ноты ему. Я увидел строчки «О, жизнь моя!.. Прощай, далекая советская Москва!..» Вторые ноты я хорошо помнил, мама часто их играла. Называлась песня «Молитва за Россию».

Думая, что я колеблюсь, Вертинский, явно взволнованный, поспешно сказал:

А я вам подарю свою фотографию!

— Конечно, Александр Николаевич! Возьмите их!

А. Н. облегченно вздохнул, вынул из ящика стола фотографию, надписал ее и отдал мне.

А теперь давайте пить чай!

Он спрятал ноты в чемодан и пригласил меня к столу, где стоя-

ла тарелка с печеньем, нечастым угощением в военную пору.

Дома я рассказал, что ноты «Молитвы за Россию» я подарил Вертинскому.

— А ведь у меня есть еще один экземпляр! — вдруг сказала мама и, вынув из другой папки такие же листки, развернула ноты.

«Церкви — на стойла,  
иконы — на щепки,

Пробил последний  
двенадцатый час.

Святой Боже, Святой крепкий,  
Святой Безсмертный —

помилуй нас!..»

Шепотом прочтя эти стихи, мама сказала:

— Все ясно. Александру Николаевичу очень бы не хотелось, чтобы эти строчки его песенки попались кому-нибудь на глаза. Да еще в клубе НКВД. Да и нам лучше их спрятать! — и она сунула листки в папку этюдов Черни.

Прошло шестьдесят лет. Давно нет на свете Александра Николаевича Вертинского. А смотрю на лежащие передо мной истрептые листки старых нот и фотографию с летящим росчерком — А. Вертинский. И опять слышу его слегка грассирующий голос: «А теперь давайте пить чай!»

**Григорий СПЕКТОР,  
режиссер**

Передо мной старая, неважного качества фотография. На ней немолодой мужчина с выразительным лицом, внимательным и грустным взглядом. На обороте надпись: «Грише на память о концертах в Тбилиси. 24/VI 1944 г.» И росчерк — А. Вертинский. Вот история этого фото.

Еще до войны в нашем тбилисском доме имя Вертинского упоминалось часто, но вполголоса и с каким-то боязливым обожанием. Шло это от мамы, которая часто вспоминала о том удивительном месяце ее жизни, когда в Киеве она, студентка четвертого курса консерватории, была приглашена

аккомпанировать выступлением знаменитого артиста кабаре Александра Вертинского, «Бледного Пьеро», как его называли всегда и поклонницы. Шел 1918 год, война, время тревог и лишений. А в киевские рестораны, где выступал молодой шансонье, ломилась публика.

Рассказывая о Вертинском, мама всегда предупреждала, чтобы я никому об этом не говорил. «Но почему?» — удивлялся я. — «Он же эмигрант! Он уехал за границу!» — испуганным шепотом отвечала мама. А сама доставала из комода истрепанные ноты с портретом артиста и играла, напевая: «Где